

Леонид Андреев

# Праздник



# Леонид Николаевич Андреев

## Праздник

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=146695](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=146695)*

### **Аннотация**

«С половины Великого поста Качерин почувствовал, что в мир надвигается что-то крупное, светлое и немного страшное в своей торжественности. И хотя оно называлось старым словом «праздник» и для всех других было просто и понятно, Качерину оно казалось новым и загадочным, – таким новым, как сознание своего существования. Последний год Качерину казалось, что он только что появился на свет, и все удивляло и интересовало его, а то, что было раньше и называлось детством, представлялось смешным, веселым и к нему не относящимся...»

# Содержание

I	4
II	8

# Леонид Андреев

## Праздник

### I

С половины Великого поста Качерин почувствовал, что в мир надвигается что-то крупное, светлое и немного страшное в своей торжественности. И хотя оно называлось старым словом «праздник» и для всех других было просто и понятно, Качерину оно казалось новым и загадочным, – таким новым, как сознание своего существования. Последний год Качерину казалось, что он только что появился на свет, и все удивляло и интересовало его, а то, что было раньше и называлось детством, представлялось смешным, веселым и к нему не относящимся. И он помнил момент, когда началась его жизнь. Он сидел в своем классе на уроке и скучал, когда внезапно с удивительной ясностью ему представилось, что вот этот, который сидит на третьей парте, подпер голову рукой и скучает, есть он, Николай Николаевич Качерин, а вот эти – тот, что бормочет с кафедры, и другие, рассеявшиеся по партам, – совсем иные люди и иной мир. Представление это было ярко, сильно и мгновенно, и потом Качерин

уже не мог вызвать его, хотя часто делал к тому попытки: садился в ту же позу и подпирал голову рукой. Но зато все стало новым и полным загадочности: товарищи, отец и мать, книги и он сам.

Качерин был учеником седьмого класса гимназии, и одни из знакомых, старые, называли его просто «Коля», а все новые звали Николаем Николаевичем. Он был невысокого роста, тоненький и хрупкий, с очень нежным цветом лица и вежливой тихой речью. Усики у него только что стали пробиваться и темной пушистой дорожкой проходили над свежими и красными губами. Родители Качерина были очень богатые люди и имели на одной из главных улиц города свой дом, при котором находился большой, в две десятины сад, громадные сараи и конюшни и даже колодец, из которого вся почти улица брала для себя воду.

У Качерина было много приятелей и один друг, Меркулов, которого он любил горячо и нежно и каждую неделю отсылал ему по большому, мелко исписанному письму. Меркулов был старше его двумя годами и с осени находился в юнкерском училище, откуда приезжал только на большие праздники. Имелись у Качерина и враги, по крайней мере, один враг – реалист, с которым он однажды подрался еще маленький, и с тех пор косился при встрече и одно время даже носил в кармане кастет. Была у него и возлюбленная – мо-

лодая, красивая и веселая горничная, однажды овладевшая им. В гимназии, дома и у знакомых все считали его очень счастливым юношей, но сам он находил себя глубоко несчастным. И причиной несчастья было то, что он сознавал себя порочным и лживым, а жизнь свою никому и ни на что не нужной. И много неразрешимых вопросов приходило ему в голову и выталкивало оттуда латынь и математику: нужно ли ему жить и зачем? Как сделать, чтобы быть довольным собой и чтобы все любили его? За последнюю учебную четверть он получил две двойки, и это грозило ему оставлением в классе на другой год. И то, что он так плохо учился и скрывал это от родителей, которые с своей стороны добродушно хвалили его, делало его окончательно негодным в его глазах. А если бы еще все, хвалившие его, знали, где он бывает с товарищами и что он делает там!

И надвигавшееся на мир что-то крупное, светлое и немного страшное, называвшееся старым именем «праздник», как будто несло с собой и ответ. И Качерин думал, что не может быть печальным этот ответ, и что обязательно явится некто и скажет, как нужно жить и для чего нужно жить. Будет ли это Меркулов, который приедет к Святой, или кто-нибудь другой, а может быть, даже и не кто-нибудь, а что-нибудь – Качерин не знал, но он ждал.

И праздник наступил.

## II

Праздничное и новое началось с первых дней Страстной недели, но Качерин не сразу почувствовал его. Он ходил в гимназическую церковь, видел там товарищей и учителей, и все это было будничное и старое. Надзиратель, носивший странное название «Глиста», поймал его, когда он курил, и хотел жаловаться инспектору. Все было скучно и серо, и все лица казались тусклыми, и на них не было видно того, что замечалось раньше, – того же ожидания какой-то необычайной радости, как у него. Быть может, на всех влияла дурная погода: на Вербное воскресенье шел снег, а потом три дня стояли холод и слякоть, и нельзя было открыть ни одного окна. Но все же в воздухе носилось что-то раздражающее. На улицах экипажей и людей стало больше, чем всегда, и двигались они быстрее и говорили громче, и все обязательно толковали не о текущем дне, а о том, что они будут делать тогда, на праздниках. Настоящее точно провалилось куда-то, и люди думали об одном будущем.

И когда в пятницу появилось солнце и сразу нагрело и подсушило землю, надвигающийся праздник овладел всем живущим, и Качерин почувствовал его во всем. Но это все было только ожиданием, и раз-



дражало и мучило. Качерин пошел в конюшню, – там кучер и дворник мыли экипажи и чистили лошадей, и были злы и неразговорчивы. Он несколько раз заглядывал на кухню – там происходило что-то необыкновенное. И всегда в будни Качерины ели очень много и хорошо, но теперь все готовили и готовили, и ни до чего из приготавливаемого нельзя было касаться, так как оно предназначалось для праздника. И мать и отец уезжали на старенькой пролетке и привозили все новые кульки, и опять уезжали, и по всему дому разносили раздражающий, необычайный запах ванили, свежего теста и яиц. Всюду перед иконами горели лампы, и нянька ругалась с маленькими детьми и не пускала их в залу и гостиную, где полы были начищены и уже все убрано. Завтрака совсем не было, а обед подали такой плохой, как будто есть теперь совсем было не нужно. Горничная Даша столкнулась с Качериным в буфетной, когда там никого не было, и хотя поцеловала его, но быстро и небрежно. Волосы у нее были не причесаны, и от голых рук шел тот же раздражающий запах ванили.

– Выйди в сад, – сказал Качерин.

– И ни-ни-ни! – замотала головой Даша. – Вот! – растопырила она руки, показывая, сколько у нее дела.

Качерин вышел в сад, и сад показался ему полным того же страстного ожидания. Около террасы дорожки

были уже вычищены и посыпаны желтым песком, но дальше, в глубине сада, было сыро и запущено, как это бывает после зимы. На дорожках лежал, прилипая к земле, прошлогодний лист, темный и промоченный насквозь; в углах у заборов белел нездоровый снег, и из-под него сочились струйки воды, чистой и прозрачной, как слеза. Местами темно-зелеными пучками сидела молодая крапива, и недалеко от нее выглядывал на свет остренький стебелек травы, одинокий и пугливый. Нагретые солнцем скамейки жгли руку, а весь неподвижный воздух казался до густоты насыщенным солнечным теплом, ароматом земли и невидимой молодой зелени. Радостно и тихо было в саду, и отчетливо доносилось с улицы скрипение ворота, поднимающего из колодца бадью. Но Качерин не мог наслаждаться этим покоем, и ему казалось, что сейчас и нельзя делать этого, а нужно ждать того, что называется «праздником». И он переходил от одной скамейки к другой, присаживался ненадолго и снова шел. Так он обошел весь сад, чего-то ожидая и ища, опять побыл в конюшнях и несколько раз выглянул на улицу, точно праздник должен был прийти именно оттуда. И до поздней ночи он ходил по дому и по двору и всем мешал, и всех молча спрашивал: скоро ли, наконец, придет он, ваш праздник?

В субботу днем мать сказала ему:

– Приехал твой Меркулов, сейчас видели его на Московской. Обещал вечером прийти.

Качерин вспыхнул и улыбнулся.

– И я рада, – ответила на его улыбку мать. – Скучать и мешаться не будешь.

Все кругом стало теперь ясно и понятно для Качерина, и он терпеливо стал ожидать, зная, кого он теперь ждет: Меркулова. Он думал о том, что он будет рассказывать своему другу, и ему чудилось, что одного простого рассказа достаточно для того, чтобы распутать и разрешить узел, в который завязалась его жизнь и который минуту назад представлялся неразрешимым. И он сделал приготовления для приема Меркулова: добыл через Дашу бутылку красного вина и две рюмки и все это поставил на окне в своей комнате. В эту минуту он забыл, что одним из пороков, внушавших ему отвращение к себе, была приобретенная в этом году привычка к вину.

Наступал вечер, и большой дом начал успокаиваться. Реже хлопала дверь из кухни, и умолкли в детской ворчливые звуки нянькиных нотаций и звонкие голоса детей. Качерин прошелся по чистым и торжественно-молчаливым комнатам, сумеречно освещенным вздрагивающим огнем лампад. Белые кисейные занавеси у окон также, казалось, вздрагивали, и было все немного и страшно и весело, полно тихого и

светлого ожидания, – так, как и, должно быть в такой большой и хороший праздник.

Сейчас придет Меркулов. Что-нибудь задержало его. Тихо было на дворе и в саду, куда прошелся Качерин. В конюшне громко стукнула копытом лошадь, и он вздрогнул от этого звука и подумал: сейчас придет Меркулов. У раскрытых дверей сарая горел фонарь, и кучер Евмен мазал чем-то свои сапоги.

– Скоро и к утрени, а? – ласково спросил он, узнав барчука в смутно темневшей тоненькой фигурке, и добродушно подмигнул: – А Дашку с куличами уже услали!

Он знал о любви Качерина к Даше, как знали это и все в доме, кроме родителей, и покровительствовал ей.

Почему же не идет Меркулов?

Еще раз Качерин прошелся по всем местам, где он уже был в этот вечер, и, стыдясь самого себя, отправился к калитке. Он был уверен, что, когда откроет ее и выглянет на улицу, увидит подходящего Меркулова и услышит его милый голос: «Здравствуй, Коля!» Осторожно, медленно Качерин открыл скрипнувшую калитку, выглянул, потом вышел на улицу и сел на холодные ступени каменного крыльца. Безлюдно и тихо было на улице. Издалека слышался звук экипажа, и Качерин приподнялся. Ближе. Всеми своими желез-

ными частями забрэнчала разбитая пролетка, и уже по одному звуку он догадался, что это возвращался один, без седока, запоздавший извозчик. Слышно стало, как ухают колеса в промытых водой колдобинах дороги и расплескивается под копытами жидкая грязь – и вновь настала глубокая тишина апрельской темной ночи. Долго еще сидел Качерин и много раз обманывался, думая, что вот наконец идет Меркулов.

Не пришел Меркулов.

Словами не мог определить Качерин того чувства, которое охватило его, когда он, нахолодавший, вернулся в свою чистую и светлую комнату. Он задыхался от гнева, тоски и слез, комком собравшихся в горле. Он мысленно произносил упреки, которые он сделал бы теперь, если бы пришел Меркулов, но они не складывались в фразы и переходили в дикий и неосмысленный крик:

– Подлец! Подлец!

Разве стоит после этого жить? Полгода не видались они; полгода днем и ночью думал он о той минуте, когда увидит своего друга и все расскажет ему: как тяжело и мучительно жить, когда нет смысла в жизни, когда нет души кругом, с которой можно было бы поделиться своим горем. Полгода не виделись – и он не мог прийти и остался с другими пошлыми людьми, которые интересны ему, дороги и милы! И Качерину ка-

жется, что все страстное ожидание, которое так долго томило его, которое он видел начертанным на всех лицах и вещах, относилось к одному Меркулову. Один он, и только он, нес с собой ответ на все мучительные вопросы и обещал свет и радость и успокоение. О, если бы он пришел!

Подлец!

Качерин ставит на стол бутылку с красным вином и две рюмки и с искаженной усмешкой смотрит на них. Из той рюмки должен был пить он. Усмехаясь и качая головой, Качерин наливает обе рюмки, берет свою, чокается и пьет.

– За... твоё здоровье! – говорит он вслух и не замечает этого.

Смотри же ты, оставшийся с пошлыми людьми, как гибнет твой друг, который так любит тебя. Смотри, как в одиночку, перед тенью бывшего, напивается он и падает все ниже и ниже. Стоит ли жить, когда так ничтожны и подлы люди? Стоит ли думать о себе, о своем достоинстве и жизни, когда ложь и обман царят над миром? Пусть гибнет все!

Уже целых две рюмки выпил Качерин и не почувствовал хмеля. Он ходил по комнате, садился и вновь ходил, и хватался руками за грудь и голову. Ему чудилось, что сейчас в них разорвется что-то и кровь потечет из глаз, вместо бесцветных слез. И то проклинал

он, то молил, то о мести думал, то о смерти, и уверен был, что никто на свете не терпел таких мучений, как он, и ни к кому не была так безжалостна жизнь и люди. И когда он вспоминал о светлых минутах ожидания и о том, как долго и терпеливо он ждал, ему хотелось нанести себе самое тяжелое и позорное оскорбление.

В дверях комнаты послышался стук.

– Коля, а ты разве в церковь не пойдешь? – спросил голос матери.

Качерин поспешно схватил бутылку с вином и рюмки и на цыпочках отнес их к окну. Потом, усиленно стуча ногами, подошел к двери и открыл ее.

– А Меркулов-то твой не пришел, – сказала мать, оглядывая комнату. – Я думала, ты с ним сидишь.

– Вероятно, задержал кто-нибудь, – отвечал Качерин равнодушно и беззаботно.

– Должно быть. У него так много знакомых. А мы с отцом уезжаем.

Мать еще раз оглядела комнату, и Качерину показалось, что она особенно долго смотрела на занавеси окна, за которыми стояла бутылка, и вышла.

Качерин чувствовал, что в жизни для него все уже кончилось и теперь безразлично, останется ли он дома или пойдет в церковь. И ему захотелось пойти, чтобы увидеть, как веселы и счастливы все люди и как несчастлив только он один. Он нарочно будет смеять-

ся и шутить, и никто не догадается, что этот юноша, такой молодой, такой хороший и веселый, думает о смерти и только одной ее жаждет. В зеркало взглянули на него большие глаза с темными кругами и бледное, страдальческое лицо. Качерин нахмурил брови, потом горько улыбнулся и подумал, что он сейчас рисуется.

– И пусть рисуюсь. Ведь я негодяй, – с усмешкой передернул он плечами.

Совсем близок был праздник, большой и загадочный, и Качерин снова ощутил замирающее чувство ожидания, когда вышел из дому. Отовсюду в церковь шли люди, и топот бесчисленных ног отдавался в тихой улице, и казалось, что умерли все остальные звуки. Медленно и грузно шмурыгали ногами старухи, и приостанавливались, и вздыхали; частым, мелким топотом отдавалась походка детей, и твердо и ровно стучали по камням ноги взрослых. И необыкновенная поспешность чувствовалась в стремительном движении толпы вперед, к чему-то неизвестному, но радостному. Даже разговоров слышно не было, точно люди боялись потерять хоть одну минуту и опоздать, и Качерин невольно ускорил шаги, и чем больше обгонял других, тем сильнее торопился.

Но вот и гимназия. В большой зале, в которой гимназисты гуляли во время перемен и свободных уро-



ков, рядами стояли куличи, и около каждого была зажженная свеча. Отсюда не было слышно церковной службы, но прислуга, стоявшая у куличей, крестилась. По коридорам двигалась густая и пестрая толпа гимназистов в мундирах и барышень в белых и цветных платьях, и так странно было видеть этих чужих, веселых, болтливых людей в коридорах, где раньше было все так строго и чинно, и ходили учителя во фраках и с журналами. И все гулявшие смеялись и говорили, и на всех лицах сияла радость – по-видимому, праздник для них уже наступил. Как будто уже случилось что-то необыкновенно радостное, или оно происходит сейчас, и люди присматриваются. Высокая плотина, за которой люди копили для себя веселье, оставаясь в ожидании его в обмелевшем русле жизни, казалось, дала уже трещины и с минуты на минуту готовилась рухнуть. Качерин чувствовал, как все выше и выше поднимаются вокруг него волны светлой радости, и люди захлебываются в них. Он прислушивался к разговорам; он вглядывался в лица и допрашивал смеющиеся глаза – и было во всех них что-то новое, незнакомое и чуждое. Старые знакомые пошлости звучали странным весельем и даже как будто бы умом. Люди встречались, улыбались, говорили: «здравствуйте», и оно звучало как поцелуй. При теплом сиянии свечей, лившемся и сверху, и снизу, и с боков, разглажива-

лись морщины на лицах, и они становились неузнаваемыми, и в глазах блеснул новый огонек: то ли отблеск свечей, то ли внутреннего света. Все выше и выше поднимались волны бурного и громкого веселья и смыкались над головой Качерина, но ни одна капля его не входила в его грудь и не освежала пересохшие от жажды уста. И как тогда, в классе, на миг блеснуло сознание одиночества и как молнией осветило черную пропасть, отделявшую его, этого уныло блуждающего по коридорам человека, от всего мира и от людей.

– Праздник... Как страшно это – праздник, – шептал Качерин, сторонясь от толкавших его веселых, довольных людей, которые так ласково глядели на него и так далеко были от него своими душами. И с ужасом, который так легко сообщался его уму, Качерин с поразительной ясностью представился самому себе в виде какого-то отверженца, Каина, на котором лежит печать проклятия. Весь мир живых людей и неживых предметов говорил на одном веселом, звучном языке. Качерин один не понимал этого языка и мучился от дикого сознания одиночества.

И Качерин ушел из сверкающего огнями здания гимназии, ища покой в темных улицах. Но, куда ни шел он, везде встречали его сияющие церкви, и около них шумно толпился народ, а в стекла окон он ви-

дел молодые и старые лица без морщин, и головы, медленно склонявшиеся после крестного знамения. Ни звука не доносилось из-за толстых стекол, и эта немая вереница светлых лиц, трепетавших под наплывом одного и того же глубокого блаженного чувства единения между собой и Богом, наводила страх на молодого отверженца. Так переходил он от одной церкви к другой, и всюду заглядывал в окна и видел одни и те же мерно склонявшиеся головы и беззвучно шепчущие губы. И все страшнее и страшнее становилось Качерину. Ему чудилось, что это все одна и та же церковь с одними и теми же людьми вырастает у него перед глазами и загораживает дорогу, и гремит всеми своими горящими окнами, всеми своими колоколами, грозными, могучими:

– Проклятый! Проклятый!

И когда Качерин вспоминал свое недавнее горе от неприхода и измены Меркулова, он понимал, как оно ничтожно и слабо перед этим страхом одиночества и заброшенности, охватившим его душу. И еще более загадочным и страшным становился праздник, который он наконец видел всюду и которого не чувствовал и не понимал. Смолк грозно-веселый говор колоколов, с самых отдаленных концов темного города посылавших ему проклятие и насмешку, и Качерин совершенно машинально за толпой мещан полез

на какую-то колокольню. Непроглядный мрак охватил его на переходах крутых и узеньких лестниц. Впереди скрипели ступени под тяжелыми шагами идущих, и Качерин, одной рукой держась за скользкие перила, другую протягивал вперед и думал, как глухо здесь и таинственно и непохоже на то, что недалеко внизу молится тысячная толпа и поют священники и певчие.

Но вот голову его охватило нежным холодком весенней ночи, и возле себя он увидел медные, молчаливо отдохавшие чудовища, а внизу крыши домов, плоские, как будто лежащие на мостовой. На железных откосах горели плоски, и пламя от фитилей сгибалось от неслышного, только ими ощутимого ветерка. И куда ни хватал взор, всюду он видел такие же мирно молчащие колокольни и огоньки площадок, взобравшихся так высоко, как звезды. И здесь был праздник, но другой, чем внизу – кроткий, торжественный и нежный, как ласка весеннего воздуха. Он не мучил Качерина, не дразнил его своим ярким блеском и шумным весельем, а входил в его грудь, ласковый и тихий, и что-то теплое переливалось в сердце. И когда Качерин прикоснулся рукой к холодному краю колокола, голос которого таким страшным и жестоким казался снизу, он звенел тихо и немного грустно. Точно и его медную грудь утомили бурные звуки громкого ликования.

Задумчивый и смягченный, Качерин спустился с колокольни и вошел внутрь церкви, которая стала близкой ему и дорогой, так как одна она из всех церквей так дружески и хорошо встретила его. Вероятно, то был бедный приход, или все хорошо одетые, богатые люди стояли ближе к алтарю и к Богу, как думали они, только в тесной толпе молящихся не было раздражающей пестроты и яркости праздничных одежд, и лишь на лицах их светлый праздник, такой же кроткий и тихий, как и наверху. Пробираясь осторожно к стене, Качерин увидел девушку его лет, в коричневом форменном платье гимназистки, и остановился немного сзади нее. Она долго не замечала его пристального взгляда, но потом обернулась и кивнула головой, так как они были знакомы, и улыбнулась ласково и приветливо. Ни смущения, ни любопытства не прочел он во взоре ее ясных глаз, и улыбка ее была так проста, доверчива и мила, как мило и просто было все ее молодое, красивое лицо. Доверчивость и простота читались в медленном поднятии густых ресниц, в прозрачной и чистой краске щек, а особенно говорили о них, казалось Качерину, простенькие и наивно-милые колечки темных волос, поднимавшихся от белой шеи. И как будто так и нужно было случиться, как оно случилось: чтобы он пришел сюда и стал здесь возле нее, и иначе не могло быть. Кто-то вздохнул сзади Каче-

рина глубоко и продолжительно, чей-то молитвенный шепот проникал в его ухо, а он смотрел на золоченый иконостас, задернутый синими клубами дыма и тускло сверкавший, и на милые колечки волос, и на белую нежную руку, неподвижно державшую свечу, и не понимал, что такое жгучее поднимается в нем. Чья-то рука осторожно коснулась его плеча и протянулась вперед с беленькой свечкой, обвитой тоненькой полоской золота.

– Спасителю! – тихо шепнул незнакомый голос.

Качерин так же осторожно коснулся плеча девушки и шепнул, протягивая свечу:

– Спасителю!

Она не расслышала, так как голос его был глух и прерывался, вопросительно-ласково подняла густые ресницы и ближе наклонила ухо. И так много было трогательной доверчивости в этом простом движении, и с такой непостижимой, чудной силой оно разрушило стену, за которой, чуждая миру и людям, мучительно содрогалась одинокая душа. Волны дивного веселья, прозрачные, светлые, подхватили ее и понесли, счастливую в своей беспомощности. Передав свечу дрожащей рукой, Качерин упал на колени – и мир утратил для него свою реальность. Он не понимал, где он находится, кто стоит возле него, и что поют где-то там, и откуда льется на него так много света. Он не

знал, о чем плачет он такими горькими и такими счастливыми слезами, и стыдливо скрывал их, по-детски закрывая лицо руками. Так хорошо и уютно было ему внизу, у людских ног, закрытому со всех сторон. В один могучий и стройный аккорд слилось все, что видели его глаза, ощущала душа: и она, эта девушка, такая милая и чистая, к которой страшно коснуться, как к святыне, и жгучая печаль о себе, порочном и гадком, и страстная, разрывающая сердце мольба о новой, чистой и светлой жизни. Не было радости в этой дивной песне пробудившейся души, но всю радость, какая существует в бесконечном мире, можно было отдать за один ее звук, чистый и печальный. И плакал Качерин, и каждая дрожащая слеза гранила чистую печаль, и сверкала она в душе, как драгоценный алмаз. С боязливой нежностью Качерин прижался губами к коричневому платью, и тоненькая полоска его, сжатая между его губами и осторожной рукой, не была грубым и пыльным куском дешевой материи, а была она тем чистым, тем светлым, ради которого только и стоит жить на свете.

Наступил праздник и для Качерина.